

Собака

...Но если допустить возможность сверхъестественного, возможность его вмешательства в действительную жизнь, то позвольте спросить, какую роль после этого должен играть здравый рассудок? провозгласил Антон Степаныч и скрестил руки на желудке.

Антон Степаныч состоял в чине статского советника, служил в каком-то мудреном департаменте и, говоря с расстановкой, туго и басом, пользовался всеобщим уважением. Ему незадолго перед тем, по выражению его завистников, вlepили станицлашку.

Это совершенно справедливо, заметил Скворевич.

Об этом и спорить никто не станет, прибавил Кинаревич.

И я согласен, поддакнул фистулой из угла хозяин дома, г. Финоплентов.

А я, признаюсь, согласиться не могу, потому что со мной самим произошло нечто сверхъестественное, проговорил мужчина среднего роста и средних лет, с брюшком и лысиной, безмолвно до тех пор сидевший за печкой. Взоры всех находившихся в комнате с любопытством и недоумением обратились на него и воцарилось молчанье.

Этот мужчина был небогатый калужский помещик, недавно приехавший в Петербург. Он некогда служил в гусарах, проигрался, вышел в отставку и поселился в деревне. Новейшие хозяйственные перемены сократили его доходы, и он отправился в столицу поискать удобного местечка. Он не обладал никакими способностями и не имел никаких связей; но он крепко надеялся на дружбу одного старинного сослуживца, который вдруг ни с того ни с сего выскочил в люди и которому он однажды помог приколотить шулера. Сверх того он рассчитывал на свое счастье и оно ему не изменило; несколько дней спустя он получил место надзирателя над казенными магазинами, место выгодное, даже почетное и не требовавшее отменных талантов: самые магазины существовали только в предположении и даже не было с точностью известно, чем их наполнят, а придумали их в видах государственной экономии.

Антон Степаныч первый прервал общее оцепенение.

Как, милостивый государь мой! начал он, вы не шутя утверждаете, что с вами произошло нечто сверхъестественное я хочу сказать: нечто не сообразное с законами натуры?

Утверждаю, возразил милостивый государь мой, настоящее имя которого было Порфирий Капитоныч.

Не сообразное с законами натуры! повторил с сердцем Антон Степаныч,

которому, видимо, понравилась эта фраза.

Именно... да; вот именно такое, как вы изволите говорить.

Это удивительно! Как вы полагаете, господа? Антон Степаныч потщился придать чертам своим выражение ироническое, но ничего не вышло или, говоря правильнее, вышло только то, что вот, мол, господин статский советник дурной запах почуял. Не потрудитесь ли вы, милостивый государь, продолжал он, обращаясь к калужскому помещику, передать нам подробности такого любопытного события?

Отчего же? Можно! отвечал помещик и, развязно пододвинувшись к середине комнаты, заговорил так:

У меня, господа, как вам, вероятно, известно а может быть, и неизвестно небольшое имение в Козельском уезде. Прежде я извлекал из него некоторую пользу но теперь, разумеется, ничего, кроме неприятностей, предвидеть нельзя. Однако побоку политику! Ну-с, в этом самом имении у меня усадьба махенькая: огород, как водится, прудишко с карасишками, строения кой-какие ну, и флигелек для собственного грешного тела... Дело холостое. Вот-с, однажды годов этак шесть тому назад вернулся я к себе домой довольно поздно: у соседа в картишки перекинул, но притом, прошу заметить, ни в одном, как говорится, глазе; разделся, лег, задул свечку. И представьте вы себе, господа: только что я задул свечку, завозилось у меня под кроватью! Думаю крыса? Нет, не крыса: скребет, возится, чешется... Наконец ушами захлопало!

Понятное дело: собака. Но откуда собаке взяться? Сам я не держу; разве, думаю, забежала какая-нибудь заболтущая? Я кликнул своего слугу; Филькой он у меня прозывается. Вошел слуга со свечкой. Что это, я говорю, братец Филька, какие у тебя беспорядки! Ко мне собака под кровать затесалась. Какая, говорит, собака? А я почему знаю? говорю я, это твое дело барина до беспокойства не допускать. Нагнулся мой Филька, стал свечкой под кроватью водить. Да тут, говорит, никакой собаки нету. Нагнулся и я: точно, нет собаки. Что за притча! Вскинул я глазами на Фильку, а он улыбается. Дурак, говорю я ему, что ты зубы-то скалишь? Собака-то, вероятно, как ты стал отворять дверь, взяла да и шмыгнула в переднюю. А ты, ротозей, ничего не заметил, потому что ты вечно спишь. Уж не воображаешь ли ты, что я пьян? Он захотел было возражать, но я его прогнал, свернулся калачиком и в ту ночь уже ничего не слышал.

Но на следующую ночь вообразите! то же самое повторилось. Как только я свечку задул, опять скребет, ушами хлопает. Опять я позвал Фильку, опять он поглядел под кроватью опять ничего! Услал я его, задул свечку тьфу ты чёрт! собака тут как тут. И как есть собака: так вот и слышно, как она дышит, как зубами по шерсти перебирает, блох ищет... Явственно таково! Филька! говорю

я, войди-ка сюда без свечки! Тот вошел. Ну, что, говорю, слышишь? Слышу, говорит. Самого-то мне его не видать, но чувствую я, что струхнул малый. Как, говорю, ты это понимаешь? А как мне это понимать прикажете, Порфирий Капитоныч? Наваждение! Ты, я говорю, беспутный человек, молчи с наваждением-то с своим... А у обоих-то у нас голоса словно птичьи, и дрожим-то мы как в лихорадке в темноте-то. Зажег я свечку: ни собаки нет, ни шума никакого а только оба мы с Филькой белые, как глина. Так свечка у меня до утра и горела. И доложу я вам, господа, верьте вы мне или нет а только с самой той ночи в течение шести недель та же история со мной повторялась. Под конец я даже привык и свечку гасить стал, потому мне при свете не спится. Пусть, мол, возится! Ведь зла она мне не делает.

Однако, я вижу, вы не трусливого десятка, с полупрезрительным, полуснисходительным смехом перебил Антон Степаныч. Сейчас видно гусара! Вас-то я бы ни в каком случае не испугался, промолвил Порфирий Капитоныч и на мгновение действительно посмотрел гусаром. Но слушайте далее.

Приезжает ко мне один сосед, тот самый, с которым я в картишки перекидывал. Пообедал он у меня чем бог послал, спустил мне рубликов пятьдесят за визит; ночь на дворе убираться пора. А у меня свои соображения. Останься, говорю, ночевать у меня, Василий Васильич; завтра отыграешься, даст бог. Подумал, подумал мой Василий Васильич, остался. Я ему кровать у себя же в спальне поставить приказал... Ну-с, легли мы, покурили, покалякали всё больше о женском поле, как оно и приличествует в холостой компании, посмеялись, разумеется; смотрю: погасил Василий Васильич свою свечку и спиной ко мне повернулся; значит: шлафензиволь¹. Я подождал маленько и тоже погасил свечку. И представьте: не успел я подумать, что, мол, теперь какой карамболь произойдет? как уже завозилась моя голубушка. Да мало что завозилась: из-под кровати вылезла, через комнату пошла, когтями по полу стучит, ушами мотает, да вдруг как толкнет самый стул, что возле Василия Васильевичевой кровати! Порфирий Капитоныч, говорит тот, и таким, знаете, равнодушным голосом, а я и не знал, что ты собаку приобрел. Какая она, легавая, что ли? У меня, говорю, собаки никакой нет и не бывало никогда! Как нет? а это что? Что это? говорю я, а вот зажги свечку, так сам узнаешь. Это не собака? Нет. Повернулся Василий Васильич на постели. Да ты шутишь, чёрт? Нет, не шучу. Слышу я: он чёрк, чёрк спичкой, а та-то, та-то всё не унимается, бок себе чешет. Загорелся огонек... и баста! След простыл! Глядит на меня Василий Васильич и я на него гляжу. Это, говорит, что за фокус? А это, говорю я, такой фокус, что посади ты с одной стороны самого Сократа, а с другой Фридриха Великого, так и те ничего не разберут. И тут же я ему всё в подробности рассказал. Как вскочит мой Василий Васильич! Словно обожженный! В сапоги-то никак не попадет. Лошадей! кричит, лошадей! Стал

я его уговаривать, так куда! Так и взмахался. Не останусь, кричит, ни минуты! Ты, значит, после этого оглашенный человек! Лошадей!.. Однако я его уломал. Только кровать его перетащили в другую комнату и ночники везде запалили. Поутру, за чаем, он остепенился; стал советы мне давать. Ты бы, говорит, Порфирий Капитоныч, попробовал на несколько дней из дому отлучиться: может, эта пакость от тебя бы отстала. А надо вам сказать: человек он сосед мой был ума обширного! Тещу свою, между прочим, так обработал чудесно: вексель ей подсунул; значит, выбрал же самый чувствительный час! Шёлковая стала; доверенность дала на управление всем имением чего больше? А ведь это какое дело тещу-то скрутить, а? Сами изволите посудить. Однако уехал он от меня в некотором неудовольствии: я-таки его опять рубликов на сотню наказал. Даже ругал меня; говорил, что ты-де неблагодарен, не чувствуешь; а я чем же тут виноват? Ну, это само собою, а совет я его к сведению принял: в тот же день укатил в город, да и поселился на постоялом дворе у знакомого старичка из раскольников. Почтенный был старичок, хотя и суров маленько по причине одиночества: вся семья у него перемерла. Только уж очень табаку не жаловал и к собакам чувствовал омерзенье великое; кажется, чем, например, ему собаку в комнату впустить согласиться скорей бы сам себя пополам перервал! Потому, говорит, как же возможно! Тут у меня в светлице на стене сама Владычица пребывать изволит, и тут же пес поганый рыло свое нечестивое уставит. Известно необразование! А впрочем, я такого мнения: кому какая премудрость далась, тот той и придерживайся!

Да вы, я вижу, великий философ, вторично и с тою же усмешкой перебил Антон Степаныч.

Порфирий Капитоныч на этот раз даже нахмурился.

Какой я философ, это еще неизвестно, промолвил он с угрюмым подергиваньем усов, но вас бы я охотно взял в науку.

Мы все так и впились в Антона Степаныча; всякий из нас ожидал горделивого ответа или хотя молниеносного взгляда... Но господин статский советник перевел свою усмешку из презрительной в равнодушную, потом зевнул, поболтал ножкой и только!

Вот у этого-то старичка я и поселился, продолжал Порфирий Капитоныч. Комнатку он мне отвел, по знакомству, не из лучших; сам он помещался тут же за перегородкой а мне только этого и нужно. Однако принял я в те поры муки! Комнатка небольшая, жара, этта, духота, мухи, да какие-то клейкие; в углу киотище необыкновенный, с древнейшими образами; ризы на них тусклые да дутые; маслом так и разит, да еще какою-то специей; на кровати два пуховика; подушку пошевелишь, а из-под нее таракан бежит... я уж со скуки чаю до невероятности напился просто беда! Лег я; спать нет

возможности а за перегородкой хозяин вздыхает, кряхтит, молитвы читает. Ну, однако, угомонился, наконец. Слышу: похрапывать стал да так полегоньку, по-старомодному, вежливенько. Свечку-то я давно загасил только лампадка перед образами горит... Помеха, значит! Вот я возьми да встань тихохонько, на босу ногу; подмогнулся к лампадке да и дунул на нее... Ничего. Эге! думаю, знать, у чужих-то не берет... Да только что опустился на постель опять пошла тревога! И скребет, и чешет, и ушами хлопает... ну, как быть следует! Хорошо. Я лежу, жду, что будет? Слышу: просыпается старик. Барин, говорит, а барин? Что, мол? Это ты лампадку погасил? Да ответа моего не дождавшись, как залопочет вдруг: Что это? что это? собака? собака! Ах ты, никонианец окаянный! погоди, говорю, старик, браниться а ты лучше приди-ка сам сюда. Тут, я говорю, дела совершаются удивления достойные. Повозился старик за перегородкой и вошел ко мне со свечкой, тоненькой-претоненькой, из желтого воску; и удивился же я, на него глядячи! Сам весь шершавый, уши мохнатые, глаза злобные, как у хорька, на голове шапонька белая войлочная, борода по пояс, тоже белая, и жилет с медными пуговицами на рубаше, а на ногах меховые сапоги и пахнет от него можжевельником. Подошел он в таком виде к образам, перекрестился три раза крестом двуперстным, лампадку засветил, опять перекрестился и, обернувшись ко мне, только хрюкнул: объясняй, мол! И тут я ему, нимало не медля, всё обстоятельно сообщил. Выслушал все мои объяснения старина и хоть бы словечко проронил: только знай головой потряхивает. Присел он потом, этта, ко мне на кроватку и всё молчит. Чешет себе грудь, затылок и прочее и молчит. Что ж, говорю я, Федул Иванович, как ты полагаешь: наваждение это какое, что ли? Старик посмотрел на меня. Что выдумал! наваждение! Добро бы у тебя, табашника, а то здесь! Ты только то сообрази: что тут святости! Наваждения захотел! А коли это не наваждение так что же? Старик опять помолчал, спясть почесался и говорит наконец, да глухо так, потому усы в рот лезут: Ступай ты в град Белев. Окромя одного человека, тебе помочь некому. И живет сей человек в Белеве, из наших. Захочет он тебе поспособствовать твое счастье; не захочет так тому и быть. А как мне его найти, человека сего? говорю я. Это мы тебя направить можем, говорит, а только какое это наваждение? Это есть явление, а либо знамение; да ты этого не постигнешь: не твоего полета. Ложись-ка теперь спать, с батюшкой со Христом; я ладанком покурю; а на утрие мы побеседуем. Утро, знаешь, вечера мудренее.

Ну-с, и побеседовали мы на утрие а только от этого от самого ладану я чуть не задохнулся. И дал мне старик наставление такого свойства: что, приехавши в Белев, пойти мне на площадь и во второй лавке направо спросить некоего Прохорыча; а отыскавши Прохорыча, вручить ему грамотку. И вся-то грамотка заключалась в клочке бумаги, на которой стояло следующее: Во имя отца и

сына и святого духа. Аминь. Сергию Прохоровичу Первушину. Сему верь. Феодулий Иванович. А внизу: Капустки пришли, бога для.

Поблагодарил я старика да без дальнейших рассуждений велел заложить тарантас и отправился в Белев. Потому я так соображал: хотя, положим, от моего ночного посетителя мне большой печали нет, однако все-таки оно жутко, да и, наконец, не совсем прилично дворянину и офицеру как вы полагаете?

И неужели вы поехали в Белев? прошептал г. Финоплентов.

Прямо в Белев. Пошел я на площадь, спросил во второй лавке направо Прохорыча. Есть, мол, говорю, такой человек? Есть, говорят. А где живет? На Оке, за огородами. В чьем доме? В своем. Отправился я на Оку, отыскал его дом, т.е. в сущности не дом, а простую лачугу. Вижу: человек в синей свитке с заплатами и в рваном картузе, так... мешанинишко по наружности, стоит ко мне спиной, копается в капустнике. Я подошел к нему. Вы, мол, такой-то? Он обернулся и доложу вам поистине: таких пронизательных глаз я отроду не видывал. А впрочем, всё лицо с кулачок, борода клином, и губы ввалились: старый человек. Я такой-то, говорит, что вам надобе? А вот, мол, что мне надобе, да и грамоту ему в руку. Он посмотрел на меня пристально таково да и говорит: Пожалуйте в комнату; я без очков читать не могу. Ну-с, пошли мы с ним в его хибарку и уж точно хибарка: бедно, голо, криво; как только держится. На стене образ старого письма, как уголь черный: одни белки на ликах так и горят. Достал он из столика железные круглые очки, надел себе на нос, прочел грамотку да через очки опять на меня посмотрел. Вам до меня нужда имеется? Имеется, говорю, точно. Ну, говорит, коли имеется, так докладывайте, а мы послушаем. И представьте вы себе: сам сел и платок клетчатый из кармана достал и у себя на коленях разложил и платок-то дырявый да так важно на меня взирает, хоть бы сенатору или министру какому, и не сажает меня. И что еще удивительнее: чувствую я вдруг, что робею, так робею... просто душа в пятки уходит. Нижет он меня глазами насквозь, да и полно! Однако я поправился да и рассказал ему всю мою историю. Он помолчал, поежился, пожевал губами, да и ну спрашивать меня, опять-таки как сенатор, величественно так, не торопясь: Имя, мол, ваше как? Лета? Кто были родные? В холостом ли звании или женаты? Потом он опять губами пожевал, нахмурился, палец уставил да и говорит: Иконе святой поклонитесь, честным преподобным соловецким святителям Зосиме и Савватию. Я поклонился в землю и так уж и не поднимаюсь; такой в себе страх к тому человеку ощущаю и такую покорность, что, кажется, что бы он ни прикажи, исполню тотчас же!.. Вы вот, я вижу, господа, ухмыляетесь, а мне не до смеху было тогда, ей-ей. Встаньте, господин, проговорил он наконец. Вам помочь можно. Это вам не в наказание наслано, а в предостережение;

это, значит, попечение о вас имеется; добре, знать, кто за вас молится.

Ступайте вы теперь на базар и купите вы себе собаку-щенка, которого вы при себе держите неотлучно день и ночь. Ваши виденья прекратятся, да и, кроме того, будет вам та собака на потребу.

Меня вдруг точно светом озарило: уж как же мне эти слова полюбились!

Поклонился я Прохорычу и хотел было уйти, да вспомнил, что нельзя же мне его не поблагодарить, достал из кошелька трехрублевую бумажку. Только он мою руку отвел от себя прочь и говорит мне: Отдайте, говорит, в часовенку нашу али бедным, а услуга та неоплатная. Я опять ему поклонился чуть не в пояс и тотчас марш на базар! И вообразите: только что стал я подходить к лавкам глядь, ползет ко мне навстречу фризовая шинель и под мышкой несет легавого щенка, двухмесячного, коричневой шерсти, белогубого, с белыми передними лапками. Стой! говорю я шинели, за сколько продаешь? А за два целковых. Возьми три! Тот удивился, думает, с ума барин спятил а я ему ассигнацию в зубы, щенка в охапку, да в тарантас! Кучер живо запряг лошадей, и в тот же вечер я был дома. Щенок всю дорогу у меня за пазухой сидел и хоть бы пикнул; а я ему всё: Трезорушко! Трезорушко! Тотчас его накормил, напоил, велел соломы принести, уложил его, и сам шмыг в постель! Дунул на свечку: сделалась темнота. Ну, говорю, начинай! Молчит. Начинай же, говорю, такая-сякая! Ни гугу, хоть бы на смех. Я куражиться стал: Да начинай, ну же, растакая, сякая и этакая! Ан не тут-то было шабаш! Только и слышно, как щенок пыхтит. Филька! кричу, Филька! Поди сюда, глупый человек! Тот вошел. Слышишь ты собаку? Нет, говорит, барин, ничего не слышу а сам смеется. И не услышишь, говорю, уже больше никогда! Полтинник тебе на водку! Пожалуйте ручку, говорит дурак и впотьмах-то лезет на меня... Радость, доложу вам, была большая.

И так всё и кончилось? спросил Антон Степаныч уже без иронии.

Видения кончились, точно и уже беспокойств никаких не было но, погодите, всей штуке еще не конец. Стал мой Трезорушко расти вышел из него гусь лапчатый. Толстохвостый, тяжелый, вислоухий, брылястый настоящий пиль-аванц. И притом ко мне привязался чрезвычайно. Охота в наших краях плохая ну, а все-таки, как завел собаку, пришлось и ружьишком запастись. Стал я со своим Трезором таскаться по окрестностям: иногда зайца подшибешь (уж и гонялся же он за этими зайцами, боже мой!), а иногда и перепелку или уточку. Но только главное: Трезор от меня ни на шаг. Куда я туда и он; даже и в баню его с собой водил, право! Одна наша барыня меня за самого за этого Трезора из гостиной приказала было вывести, да я такую штурму поднял: что одних стекол у ней перебил! Вот-с, однажды, дело было летом... И, скажу вам, засуха стояла тогда такая, что никто и не запомнит; в воздухе не то дым, не то туман, пахнет гарью, мгла, солнце, как ядро

раскаленное, а что пыли не прочихнешь! Люди так разинувши рты и ходят, не хуже ворон. Соскучилось мне этак дома всё сидеть, в полнейшем дезабиле, за закрытыми ставнями; кстати же жара начинала сваливать... И пошел я, государи мои, к одной своей соседке. Жила же она соседка от меня в версте и уж точно благодетельная была дама. В молодых еще цветущих летах и наружности самой располагающей; только нрав имела непостоянный. Да это в женском поле не беда; даже удовольствие доставляет... Вот добрался я до ее крылечка и солоно же мне показалось это путешествие! Ну, думаю, ублаготворит меня теперь Нимфодора Семеновна брусничной водой, ну и другими прохладами и уже за ручку двери взялся, как вдруг за углом дворовой избы поднялся топот, визг, крик мальчишек... Я оглядываюсь. Господи боже мой! прямо на меня несется огромный рыжий зверь, которого я с первого взгляда и за собаку-то не признал: раскрытая пасть, кровавые глаза, шерсть дыбом... Не успел я дыхание перевести, как уж это чудовище вскочило на крыльцо, поднялось на задние лапы и прямо ко мне на грудь каково положение? Я замер от ужаса и руки не могу поднять, одурел вовсе... вижу только страшные белые клыки перед самым носом, красный язык, весь в пене. Но в то же мгновенье другое, темное тело взвилось передо мною, как мячик, это мой голубчик Трезор заступился за меня; да как пиявка тому-то, зверю-то, в горло! Тот захрипел, заскрежетал, отшатнулся... Я разом рванул дверь и очутился в передней. Стою, сам не свой, всем телом на замок налег, а на крыльце, слышу, происходит баталья отчаянная. Я стал кричать, звать на помощь; все в доме всполошились. Нимфодора Семеновна прибежала с распущенной косой, на дворе загомонили голоса и вдруг послышалось: Держи, держи, запири ворота! Я отворил дверь так, чуточку гляжу: чудовища уже нет на крыльце, люди в беспорядке мечутся по двору, махают руками, поднимают с земли поленья как есть очумели. На деревню! на деревню убегла! визжит какая-то баба в кичке необыкновенных размеров, высунувшись в слуховое окно. Я вышел из дома. Где, мол, Трезор? и тут же увидел моего спасителя. Он шел от ворот, хромой, весь искусанный, в крови... Да что такое, наконец? спрашиваю у людей, а они кружатся по двору, как угорелые. Бешеная собака! отвечают мне, графская; со вчерашнего дня здесь мотается. У нас был сосед, граф; тот заморских собак навез, престрашенных. Поджилки у меня затряслись; бросился к зеркалу, посмотреть, не укушен ли я? Нет, слава богу, ничего не видать; только рожа, натурально, вся зеленая; а Нимфодора Семеновна лежит на диване и клохчет курицей. Да оно и понятно: во-первых, нервы, во-вторых, чувствительность. Ну, однако, пришла в себя и спрашивает меня, томно так: жив ли я? Я говорю, жив, и Трезор мой избавитель. Ах, говорит, какое благородство! И стало быть, бешеная собака его задушила? Нет, говорю, не задушила, а ранила сильно. Ах, говорит, в

таком случае его надо сию минуту пристрелить! Ну, нет, говорю, я на это не согласен; я попробую его вылечить... Тем временем Трезор стал скрестись в дверь: я было пошел ему открывать. Ах, говорит, что вы это? Да он нас всех перекусает! Помилуйте, говорю, яд не так скоро действует. Ах, говорит, как это возможно! Да вы с ума сошли! Нимфочка, говорю, успокойся, прими резон... А она как крикнет вдруг: Уйдите, уйдите сейчас с вашей противной собакой! И уйду, говорю. Сейчас, говорит, сию секунду! Удались, говорит, разбойник, и на глаза мне не смей никогда показываться. Ты сам можешь взбеситься! Очень хорошо-с, говорю я, только дайте мне экипаж, потому что я теперь пешком идти домой опасаюсь. Она уставилась на меня. Дать, дать ему коляску, карету, дрожки, что хочет, лишь бы провалился поскорее. Ах, какие глаза! ах, какие у него глаза! Да с этими словами из комнаты вон, да встрешную девку по щеке и слышу, с ней опять припадок. И поверите ли вы мне, господа, или нет, а только с самого того дня я с Нимфодорой Семеновной всякое знакомство прекратил; а по зрелом соображении всех вещей не могу не прибавить, что и за это обстоятельство я обязан моему другу Трезору благодарностью по самую гробовую доску.

Ну-с, велел я заложить коляску, усадил в нее Трезора и поехал к себе домой. Дома я его осмотрел, обмыл его раны да и думаю: повезу я его завтра чуть свет к бабке в Ефремовский уезд. А бабка эта старый мужик, удивительный: пошепчет на воду а другие толкуют, что он в нее змеиную слюну пускает, даст выпить как рукою снимет. Кстати, думаю, в Ефремове себе кровь брошу: оно против испуга хорошо бывает; только, разумеется, не из руки, а из сокола. А где это место сокол? с застенчивым любопытством спросил г. Финоплентов.

А вы не знаете? Самое вот это место, на кулаке, подле большого пальца, куда из рожка табак насыпают вот тут! Для кровопускания первый пункт; потому сами посудите: из руки пойдет кровь жильная, а тут она наигранная. Доктора этого не знают и не умеют; где им, дармоедам, немчуре? Больше кузнецы упражняются. И какие есть ловкие! Наставит долото, молотком тукнет и готово!.. Ну-с, пока я таким образом размышлял, на дворе совсем стемнело, пора на боковую. Лег я в постель и Трезор, разумеется, тут же. Но от испуга ли, от духоты ли, от блох или от мыслей только не могу заснуть, хоть ты что! Тоска такая напала, что и описать невозможно; и воду-то я пил, и окошко открывал, и на гитаре камаринского с итальянскими вариациями разыграл... нет! Прет меня вон из комнаты да и полно! Я решился наконец: взял подушку, одеяло, простыню да и отправился через сад в сенной сарай; ну и расположился там. И так мне стало, господа, приятно: ночь тихая, перетихая, только изредка ветерок словно женской ручкой по щеке тебе проведет, свежо таково; сено пахнет, что твой чай. на яблонях кузнечики потрюкивают; там

вдруг перепел грянет и чувствуешь ты, что и ему, канашке, хорошо, в росе-то с подружкой сидючи... А на небо такое благолепие: звездочки теплятся, а то тучка наплывет, белая, как вата, да и та еле движется...

На этом месте рассказа Скворевич чихнул; чихнул и Кинаревич, никогда и ни в чем не отстававший от своего товарища. Антон Степаныч посмотрел одобрительно на обоих.

Ну-с, продолжал Порфирий Капитоныч, вот так-то лежу я и опять-таки заснуть не могу. Размышление нашло на меня; а размышлял я больше о премудрости: что вот как, мол, это Прохорыч мне справедливо объяснил насчет предостереженья и почему это именно надо мной такие чудеса совершаются?.. Я удивляюсь собственно потому, что ничего не понимаю, а Трезорушко повизгивает, свернувшись в сене: больно ему от ран-то. И еще я вам скажу, что мне спать мешало вы не поверите: месяц! Стоит он прямо передо мной, этакий круглый, большой, желтый, плоский, и сдаётся мне, что уставился он на меня, ей-богу; да так нагло, назойливо... Я ему даже язык наконец высунул, право. Ну чего, думаю, любопытствуешь? Отвернусь я от него а он мне в ухо лезет, затылок мне озаряет, так вот и обдаёт, словно дождем; открою глаза что же? Былинку каждую, каждый дрянной сучок в сене, паутинку самую ничтожную так и чеканит, так и чеканит! На, мол, смотри! Нечего делать: опер я голову на руку, стал смотреть. Да и нельзя: поверите ли, глаза у меня, как у зайца, так и пучатся, так и раскрываются словно им и неизвестно, что за сон бывает за такой. Так, кажется, и съел бы всё этими самыми глазами. Ворота сарая открыты настежь; верст на пять в поле видно: и явственно и нет, как оно всегда бывает в лунную ночь. Вот гляжу я, гляжу и не смигну даже... И вдруг мне показалось, как будто что-то мотанулось далеко, далеко... так, словно что померещилось. Прошло несколько времени: опять тень проскочила уже немножко ближе; потом опять, еще поближе. Что, думаю, это такое? заяц, что ли? Нет, думаю, это будет покрупнее зайца да и побешка не та. Гляжу: опять тень показалась, и движется она уже по выгону (а выгон-то от луны белесоватый) таким крупным пятном; понятное дело: зверь, лисица или волк. Сердце во мне ёкнуло... а чего, кажись, я испугался? Мало ли всякого зверя ночью по полю бегают? Но любопытство-то еще пуще страха; приподнялся я, глаза вытаращил, а сам вдруг похолодел весь, так-таки застыл, точно меня в лед по уши зарыли, а отчего? Господь ведаёт! И вижу я: тень всё растёт, растёт, значит, прямо на сарай катит... И вот уж мне понятно становится, что это точно зверь, большой, головастый... Мчится он вихрем, пулей... Батюшки! что это? Он разом остановился, словно почуял что... Да это... это сегодняшняя бешеная собака! Она... она! Господи! А я-то пошевелиться не могу, крикнуть не могу... Она подскочила к воротам, сверкнула глазами, взвыла и по сему

прямо на меня!

А из сена-то, как лев, мой Трезор и вот он! Пасть с пастью так и вцепились оба да клубом оземь! Что уж тут происходило не помню; помню только, что я, как был, кубарем через них, да в сад, да домой, к себе в спальню!.. Чуть под кровать не забился что греха таить. А какие скачки, какие лансады по саду задавал! Кажется, самая первая танцорка, что у императора Наполеона в день его ангела пляшет, и та за мной бы не угналась. Однако, опомнившись немного, я тотчас же весь дом на ноги поднял; велел всем вооружиться, сам взял саблю и револьвер. (Я, признаться, этот револьвер вскоре после эманципации купил, знаете, на всякий случай только такой попался бестия разносчик, из трех выстрелов непременно две осечки.) Ну-с, взял я всё это, и таким манером мы целой оравой, с дрекольями, с фонарями и отправились в сарай. Подходим, окликаем не слышать ничего; входим, наконец, в сарай... И что же мы видим? Лежит мой бедный Трезорушко мертвый, с перерванным горлом а той-то, проклятой, и след простыл.

И тут я, господа, взвыл как теленок и, не стыдясь, скажу: припал я к моему двукратному, так сказать, избавителю и долго лобзал его в голову. И пробыл я в этом положении до тех пор, пока в чувство меня не привела моя старая ключница Прасковья (она тоже прибежала на гвалт). Что это вы, Порфирий Капитоныч, промолвила она, так обо псе убиваетесь? Да и простудитесь еще, боже сохрани! (Очень уж я был налегке.) А коли пес этот, вас спасаючи, жизни решился, так для него это за великую милость почесть можно!

Я хотя с Прасковьей не согласился, однако пошел домой. А бешеную собаку на следующий день гарнизонный солдат из ружья застрелил. И, стало быть, уж ей такой был предел положон: в первый раз отродясь солдат-то из ружья выпалил, хоть и медаль имел за двенадцатый год. Так вот какое со мной произошло сверхъестественное событие.

Рассказчик умолк и стал набивать себе трубку. А мы все переглянулись в недоумении.

Да вы, может быть, очень праведной жизни, начал было г. Финоплентов, так в возмездие... Но на этом слове он запнулся, ибо увидал, что у Порфирия Капитоныча щеки надулись и покраснели и глаза съежились вот сейчас прыснет человек...

Но если допустить возможность сверхъестественного, возможность его вмешательства в ежедневную, так сказать, жизнь, начал снова Антон Степаныч, то какую же роль после этого должен играть здравый рассудок? Никто из нас ничего не нашелся ответить и мы по-прежнему пребывали в недоумении.

спокойной ночи (нем.).

